

Наташа Северин

Каприсы

Наш человек в Нью-Йорке

В Одессе она носила другую фамилию. И вспоминаю я ее под прежним именем лишь для того, чтобы ее земляки смогли лишней раз восхититься тем, какие дарования подарил миру наш удивительный город.

Журналиста Наталью Воротняк у нас отлично знали. Ее статьи, чего бы она ни касалась, всегда отличались динамичностью мысли, хорошим знанием предмета и прекрасным языком. Немудрено, что нервная, импульсивная, легкая на подъем, одинаково готовая, и не только в профессии, к доброй драке и самопожертвованию; расположенная к состраданию тем, кто в том нуждался, и умеющая дать надлежащий отпор тупым конформистам, которыми изобиловала эпоха развитого совка, Наталья естественным образом оказалась в Москве, в центре тогдашних социальных баталий. Там она трудилась в самых разных изданиях, но на месте себя почувствовала лишь в знаменитой «Сельской жизни» задиристого Олега Попцова, который ее талант заприметил и неизменно вслед за тем привечал. Я очень хорошо помню Воротняк в те годы, потому что именно тогда редактировал в столице газету кинематографистов «Зеркало», и молодая журналистка охотно помогала мне своими блестящими публицистическими статьями, которые оказали бы честь и популярному «Огоньку».

С тех пор много воды утекло. И Москвы той нет в помине. И о Попцове ничего не слышно. А Наталья – в силу семейных причин – эмигрировала в Израиль, потом, после смерти мамы, пустилась дальше по градам и весям планеты, и вдруг всплыла нежданно-негаданно в Интернете, под другой фамилией – Северин. Она сама отыскала меня в Фейсбуке,

убедилась в том, что я – это я, и с той минуты на мою френд-ленту начали прилетать совершенно изумительные то ли рассказы, то ли эссе, то ли мастеровито исполненные экзерсисы, жанр которых спустя некоторое время с легкой руки кого-то из нью-йоркских литераторов она обозначила словом «каприсы».

Если провести параллель с музыкой, то напрашивается приведенное в «Википедии» определение Антуана Фюретьера, который описал «каприс» как «произведение, где сила воображения имеет больший вес, чем следование правилам искусства». И это в случае Натальи Северин совершенно точно. В своих изящных миниатюрах, произрастающих на почве общемировой культуры (такова ее изощренная образная система), она смело пренебрегает какими бы то ни было правилами – от лексических норм до требований пунктуации, но в воображении своем достигает уровня свободы и независимости, завидного даже для лучших, классических произведений в духе магического реализма. Впрочем, дабы убедиться в том, прав ли я, не лучше ли вам самим прочесть несколько творений Северин, которые альманах сегодня публикует, возвращая Одессе нашу старую знакомую в совершенно новом качестве.

Валерий Барановский

Сбитый самолет

«Дым в лесу», опять нашли шпиона, Гайдар сам его видел: с косыми глазами, левая нога прибита гвоздем к рации, под пытками говорит только одно: «О, Волька!» – и сколько таких бродит по государственной границе, прося подаяние!» – так думал убитый летчик на борту сбитого самолета, который лежал посреди города, но никто к нему не подходил, потому что зачем? раз он сбит, значит, это кому-то нужно, тот пусть и собирает поломанные продырявленные крылья, сквозь которые все приспособились смотреть на закат, как в цветной калейдоскоп, и на реку, которая все никак не выйдет из берегов и не зальет все это к чертовой матери; летчика пытались вынуть из кабины,

но он категорически отказался, а с мертвым не поспоришь – будет ночью приходиться, сожрет все из холодильника, а продуктов в магазинах уже нет, люди едят кору и древесный клей, сидя у телевизоров, наполненных могильными цветами и плясками дев; в тени упавшего самолета поселились бомжи из разбомбленных домов, жгут костры, повесили на фюзеляж «Гернику» и пару картинок Дали – очень идет к пейзажу, облагораживает, бездомные поют песни из гирлянд тоски и печали, от которых заснуть невозможно, слезы льются по сохранившимся после взрывов щекам и окнам; иногда появляется Джуди Гарланд, которую здесь никто не узнает, какая-то коротенькая девчонка с улыбкой до ушей, наверное, заблудилась, лопочет на языке врага, но – приятно, ее угощают водкой, она из благодарности дает уроки вокала и военной хореографии, и все это с американской энергией, блеском, в настоящем, с люрексом, костюме! воистину праздник на обгоревших обломках; летчик же, интеллектуал в прошлом, друг Экзюпери, в упоении читает Новалиса – его руки и ноги забинтовали птицы, они теперь взяли шефство над ним: приносят в клювах крошки пищи и антибиотиков, только они не считают его мертвым! а это важно, чтобы кто-нибудь в тебя поверил; одна птица все время носит золотые крошки с прииска, ведь ее не обыскивают на выходе, золота уже набралось много – из него сделали даже панно – «Сбитый Самолет», так что птицы поставили на месте трагедии свой особый золотой памятник, а заодно ласточка вернула золото, отнятое некогда у Счастливого Принца; мы наблюдали за кружением стаи над летчиком многие дни, до самой осени, привыкли к птичьим крикам и заботе, но однажды ранним утром, после первых заморозков, когда бомжи навсегда ушли из-под черного остова, когда солнце уже нехотя протиснулось в искривленный иллюминатор, птицы подхватили самолет вместе с летчиком на тысячи маленьких крыльев и стали подниматься в небо, мы глазам своим не верили, но страшная обуглившаяся машина, зияя дырами, покачивая висящими на железных волосках шасси, тихо и уверенно взлетала, а летчик, бросив нам свою книгу на память, положил забинтованные руки на штурвал и задумчиво улыбался, они торопились в теплые края.

Письмо солдату

Я никак не дочитаю рассказ Агаты Кристи «Кровавое пятно на тротуаре» и никак не допишу рассказ о женщине в красной шляпке, которая пишет письмо за столиком известной нью-йоркской писательской таверны, где выпивал когда-то О’Генри и напивался Эдгар По, письмо начато еще в 1914-м году, кому она пишет – мы узнали, когда хозяин кафе прибывал за ее спиной портрет Лонгфелло, он взглянул из-за ее красивой спины и прошептал нам: «Рихард!» – ага, значит, немка – иммигрантка – это для Ремарка! красная шляпка быстро привлекла к себе внимание Нью-Йорка – маленькая, тесная, как каска, с фетровой огромной розой того же цвета, на юном лице глаза такие черные, как будто – одни зрачки, и это даже страшно! мужчины пытались отвлечь ее от письма, ревнуя к адресату, слали бокал пива за свой счет, даже Чаплин однажды прислал ей бутылку шампанского, но она, сдвинув брови, все писала и писала, утирая высокий лоб салфеткой, шепча не слышные нам слова... Жив ли еще этот солдат? – думали мы, особенно, когда письмо продолжалось уже в 1941 году, и лицо девушки стало как у героини Фасбиндера «Замужество Марии Браун» – бледное, а глаза погасли, только один человек однажды удосужился разговора с ней – Скотт Фицджеральд, ему никто не мог отказать, они вместе выпили и он ушел очень довольный, поместил диалог с ней в одном своем романе, но когда потребовались сокращения – диалог вылетел... через многие годы волосы женщины поседели, высывались из-под шляпки седыми лохмами, глаза ее покрылись голубой пленкой, рядом со столом, где лежали уже не матерчатые, а дешевые бумажные салфетки (время глупеет, но дорожает), появилась палочка; 14 – 41– 14 – плохие годы для России, русские это обсуждали в американском кафе, но ей-то что? она писала письмо Рихарду! мы все давно привыкли к пишущей женщине, которая много лет пьет из одного бокала, известный скульптор посвятил ей скульптуру «Письмо Солдату», несколько журналистов «Нью-Йорк Пост» попытались найти Рихарда, но пришли к выводу, что он давно похоронен в братской могиле под Верденом, еще в 1916-м! в рассказе «Кровавое

пятно на тротуаре» есть интересное замечание о том, что архитектура бывает зловещей, какой-то самый обычный мирный уголок города с козырьком добродушного дома и скамейкой у входа может вдруг показаться пешеходу улицей Морг... старая немка в красной шляпке вызывала у нас невероятное любопытство: *что* она пишет столько лет с такой страстью? то бледнея, то краснея? сжимая в руке перья разных эпох? и кто этот герой, которому адресуется столетняя любовь? и однажды сын русского поэта, гиперактивный мальчик, которому надоело сшибать стулья в исторической и темной таверне, подбежал к красной шляпке, вырвал лист бумаги из-под ее пера, рассыпал по полу целую стопку других пожелтевших писем и понесся с ними по кафе, бармен быстро забрал у него листы и перед тем, как вернуть их растерянной старушке, как бы невзначай показал нам: на листах бумаги мелким рачительным почерком были выведены колонки цифр: Счет за свет – 30 долларов, вода – 15, телефон – 40, магазин Мэйсис – 12, и так далее на всех страницах, ни одного слова! Ни од-но-го!

Лихорадка

Она началась со скрипок, с мирных вальсов: венских, французских, из фильма «Амели», скрипичная лихорадка перешла в Интернет и приняла угрожающий характер, соцсети буквально затоплены струнными спазмами и всхлипами, звук нарастает, вырывается за пределы виртуального, смычок отброшен, струны справляются без него, потом – без музыканта, в оркестрах – увольнения, скрипачи не нужны, пусть идут на крышу, семьи музыкантов в отчаянии, начались самоубийства мастеров, выполненные с большим вдохновением; отсюда берут истоки события, которые до сих пор держат мир в недоумении и растерянности, лихорадку лечат хиной, от которой желтеют, но тут она не имеет силы, зато желтые следы остаются на земле; неожиданно и вопреки прогнозам институтов болезнь перекинулась на шелк, Великий шелковый путь из Восточной Азии к Средиземному морю вдруг оказался в центре внимания

общественности, теперь он называется Коридором, и по нему перебрасываются танки и вертолеты, но, согласитесь, шелк долго не может выдержать такой тяжести, и он порвался! через прореху на шоссе хлынули арабские скакуны из Ферганской долины, которых древние китайцы покупали за шелковую пряжу и бронзовые зеркала, военная техника остановилась и не знает, что делать с табунами, бегущими в Китай; бунт тут же подхватил желто-синий шелк знамен, поднятый против средневековой Валахии, знаменосцы, натертые чесноком и в строительных касках, разожгли костры из автомобильных шин, чтобы оградить себя от железного войска стригоев, вурдалаков, много раненых, много трогательных судеб, вот стареющая женщина нежно перевязывает рану юноши, это ее последнее прикосновение к телу мужчины, на поле боя она прощается с любовью, юноша благодарно целует ее руку, всю в его крови и в йоде; в это время по миру лихорадочно разбегаются деньги, деньги всегда куда-то бегут, из страны в страну, как корова Йо, их гонит жадность, хозяева не успевают, их яхты и самолеты в мыле, хрипят и просят пристрелить; перемены произошли также в небе: черные маски летают целыми стаями среди облаков, сгоняя птиц на землю, им дали бой смелые ласточки, но пали с обрезанными крыльями, у масок – острые металлические края, они также душат своими шнурками и лентами; «убогий дар и ущербность слов» стали залогом выживания среди бегущих в панике людей, «спасутся убогие», твердят политики, искажая слова Христа, а сами закупают хинин тоннами и прячут в бункер, готовятся переждать смертельную лихорадку *всего*; я же отправилась со многими, которые не желают быть убогими и спастись такой ценой, в бар, где посетители лихорадочно опустошают бутылки, ради смеха, поверьте, а не от страха, бармен отдает напитки бесплатно по такому случаю, вина и водки все меньше, пустые бутылки выстраиваются на полках, а те вздыхают с облегчением – не так тяжело нести ношу, играют вальсы из автомата, звенят простые бокалы, шум и крики лихорадки не доходят из-за закрытой двери, но у всех нас, конечно, есть маленький пакет хинина, принимать пока не будем, чтоб не смущать друг друга противным желтым цветом.

Через дорогу, напротив

Есть люди, которые уделяют большое внимание разным мелким удобствам жизни, например, мой знакомый инженер Анатолий хвастался, что все, что ему в жизни нужно, обычно – напротив, через дорогу: друзья живут напротив, парикмахерская, супермаркет, автобусная остановка, Эйфелева башня, которая во Франции, – тоже напротив; родился он в роддоме напротив своей будущей школы, а напротив школы оказался его институт, во дворе прямо перед его окном было окно девушки с жемчужным телом – они поженились, рожала жена в роддоме напротив тюрьмы, и сына уже в 18 лет перевели через дорогу в наручниках и посадили пожизненно, тогда Анатолий обратил внимание, что напротив его работы блестело холодное консульство Канады, он собрался и переехал с грустной женой в новую страну; вскоре жена ушла к французу, рабочий стол которого был напротив ее стола... после развода в мэрии Анатолий подался отмечать свободу в ресторан напротив, а там встретил торговца марихуаной, и тот втянул его в свой бизнес, знакомый разбогател, купил дом, яхту, но однажды, плывя на ней по бурной реке Святого Лаврентия, он увидел напротив большой круизный корабль, который шел на таран лодки; Анатолий выбросился в холодную канадскую воду и так себя спас, его вытащили на борт, и вот, плывя вместе с пассажирами к устью реки, где водились киты, знакомый обнаружил красавицу в вечернем платье со шлейфом в каюте напротив, он, как был в тряпье, собранном для него командой, сделал ей предложение, но она (оказалась русской) повертела пальцем у виска, ведь она каталась по вызову богатого французского старика с надменным профилем; впервые алгоритм жизни Анатолия не сработал, до конца путешествия он бился головой о стенку напротив его кровати; дальше пошло еще хуже: по прибытии корабля в порт несколько членов команды (тоже соотечественники Анатолия) по приказу капитана вывезли его за город на пустырь, избили, чтоб не думал судиться, и бросили среди камней и бурьянов; проснувшись наутро от прикосновения холодной росы, мой знакомый вдруг осознал, что напротив него ничего нет – одно чистое поле, в недоумении и растерянности, без привычного ориентира пополз

он в сторону кровавого заката и, наконец, добрался до маленького поселка людей, постучал в дверь крайнего дома – к нему навстречу вышли два красивых брата, завели его домой, отмыли, перевязали, накормили и уложили спать на мягкую постель с чистыми простынями; всю ночь Анатолий видел цветные сны, полные счастья, а наутро, подойдя к окну, обнаружил, что напротив – городское кладбище, не успел он осмыслить это обстоятельство, как в комнату вошли оба брата, хозяева и спасители, в перчатках, черных балаклавах и с подушками в руках – и тут Анатолий как будто поменялся сам с собой местами, он узнал себя сидящим, как герой фильма Хичкока «Угловое окно», в инвалидном кресле и наблюдающим в окне напротив сцену своего же убийства... знакомый с удовольствием констатировал, что и смерть его оказалась напротив, и путь к ней – всего два удобных шага, действительно, удача никогда не покидала его, все шло в руки, и он отправился через последний короткий переход.

Оптический обман Иерусалима

Серебряные тропинки, протоптанные мной в Иерусалиме за семь лет жизни, я храню в тайне, о них никто не знает, их никто не найдет, их вообще нет! как и бедуина Иосифа, который все сидит и сидит на корточках у белой стены в Старом Городе напротив моей двери, он худой и, говорят, похож на актера Шварценеггера, с синими глазами на загорелом лице, но мелковатый – дворовый вариант; зачем он сидит здесь и смотрит? когда я прихожу домой, когда ухожу на работу – как деревянное изваяние с кальяном, памятник жаре – арабы знают и ждут, а я нет, я тихо живу в доме арабской учительницы из Христианского квартала, пью с ней чай по вечерам, слушая про коррупцию Палестинской автономии, странная образовалась у нас пара – еврейка с вдовой арабкой, а Иосиф, который не знает ни иврита, ни английского, – все сидит и ждет за забором, сторожит нас с перерывами на молитву, наутро он положил перед собой блокнот со словами по-английски: «Я – Иосиф, а ты кто?» – а я не знаю, кто я! на пальцах трудно объяснить бедному бедуину; мне кажется, что Иерусалим – большой

город, а на самом деле в Субботу, когда не ходит транспорт и все бегут по своим тропинкам, его можно обойти за полдня, расстояние между объектами очень велико только во времени, не в пространстве: у Яффских ворот, например, крестоносцы тащат куда-то дохлую лошадь, сверкая доспехами, а за тысячу лет до них (но буквально через дорогу) – Христос тащит свой крест (я живу на Виа Долороза), а вот и безработные арабы изучают электростанцию в Восточной части невидящими глазами – хашмаль! считается, что где-то за углом этой круглой древней крепости, в которой царит сутолока религий, начинается Иудейская пустыня, и там живет вечная Змея – но правда это или нет, я так и не выяснила – за угол я зайти не успела, зато каждый день, когда я выхожу из старых стен в обычный Иерусалим, из травы среди камней на меня смотрят глаза маленьких гадюк и ужей, видевших некогда на месте моей тени султана Саладина; Поле крови, где Иуда зарыл свои деньги, тоже кажется издали большим, а приблизиться – маленькое плато, десяток метров, Иуда сидит под осиной и переписывает рассказ Леонида Андреева о нем, утирает пот со лба, он разгневан неточностями; в такую жару еще и клубится дым пожарища – Храм не сгорает уже тысячи лет, и не сгорит, вот так и будет стоять, как огромный факел, – это не патриотическое с моей стороны, а – сюрреалистическое, кто хочет видеть храм, для того дорога не зарастает; вечер... возвращаюсь домой к учительнице по пыльным серебряным тропинкам – иногда они покрываются кровью и кусками человеческого тела, это после взрыва, глядя на еврейских религиозных старателей в черных брюках и белых рубашках, которые привычно собирают останки в целлофановые пакеты, можно было бы сказать, что этот город – для строгого черно-белого кино, но красный цвет, розовые внутренности, страшный запах интифады разрывают экран; у белого отштукатуренного забора уже четвертый месяц неподвижно сидит Иосиф в нарядной рубашке, он заметил меня издали, улыбается, у его ног – новая записка: «Моя мать приглашает тебя к обеду», – и тут я начинаю чувствовать настоящие расстояния Иерусалима, ведь я так далека от этой записки, которая у меня в руках, и от этого приглашения, мне казалось, я неуязвима, я на Марсе... а на самом деле уже одной ногой в чужом мире?

Наутро я быстро собираю вещи и уезжаю из центра всех религий, Старого Иерусалима, из замызганного бедного Арабо-Христианского квартала, где никогда не решусь поселиться на Пути Скорби, он у меня – свой, я уезжаю в еврейскую роскошную Тальбию, шипы и тернии незримо устилают и эту дорогу.

На краю цивилизации

Что-то слышится родное, а скорее – двоюродное и по линии матери, пока не могу понять, откуда доносится звук, похожий на ветра шум или рыданье, или объяснение в любви, сказанное скороговоркой на подножке поезда, улетающего в грозное небо, – вот, значит, почему молния ударила в злосчастного Тимофея из Воркуты, никому не нужного старого сироту с бельмом на глазу? он никогда не увидит Гренаду! и не надо, он все равно привык идти всю жизнь по вечной мерзлоте, спать среди ежевики, голодать, но глотать лишь насмешки чиновников, а тут еще и удар молнии! сирота, конечно, задвинул кулаком обратно, как учили в детдоме, рассек гигантскую бровь, да так, что искры посыпались, как на электросварке, а потом честно повез ее в больницу, чтоб наложили швы; сочувствую такой встрече с природой, но не более того, с Воркутой меня связывают неглубокие воспоминания: жила в одном гостиничном номере с тамошней драматрисой, ее бросил любовник на гастролях, и утром она просыпалась вся в снегу и слезах и начинала пить водку из мутного стакана, объясняя это тем, что воркутинский театр, где она играла в «Цветах запоздалых», стоит прямо на краю цивилизации, и волны бьются о стены ветхой гримерки; и ведь верно – страшное место! тем более что край цивилизации очерчен условно, не обнесен забором, в любой момент можешь поскользнуться и обрушиться в бездонную пропасть, где кто-то огромный ходит по ночам, сопит и сморкается в ковер из полыни – такое без водки не осмыслишь! но вот те же волны, только с барашками, несут из Одессы белый пароход в Тавриду (это происходит одним летом моей юности), палубный билет для студентов дает возможность рассматривать ночью звезды, загадывать желание под падающий

метеор, слушать пение рыб о южных широтах; со мной путешествует двоюродный брат – красоты необыкновенной, известный лучник с серебряными стрелами – правда, сейчас после ранения на необъявленной войне он ходит с палочкой и говорит о грустном; не знаю, как нам удалось избежать греха на теплой палубе, пропахшей морем (а это случается на кромке цивилизации), потому что сводники-пассажиры сделали все возможное – они погасили огни на корабле и ушли прогуляться по волнам, чтоб нам не мешать, но тут вмешался строгий Бог и разлучил нас Сном до самого рассвета, тем более что никакого брата у меня никогда не было и нет, ни одного, ни другого, ни третьего... но именно его голос и звон его стрел в колчане мне постоянно слышится в кипарисовой роще, где прячутся черные птицы.

Каприз № 317, ля-бемоль мажор

Отчаяние чайной розы, души не чающей в душных небесах, пропитанных грозой, приютивших грозного дьявола за серебряной каймой – чих-ших! срази его молния добродетели! ночью надежда пролетала над лугом, хвостиком махнула – и видали мы тот луг на картине «передвижника», а куда он сам двинул с родной природы – никто не знает, даже Чехов с Ионычем, они дуются в карты уже второе столетие, короли и дамы в дырках от столь долгого тасования, а писатель все надеется выиграть, ставка – полное собрание его сочинений, в очереди за которым приходилось отмечаться в 5 утра под магазином, весь СССР стоял, прочли же единицы, да и то – по работе; вчера в баре Манхэттена видела другого писателя – Брэдбери, бармен решил пошутить и налил ему вина из одуванчиков, а фантаст поднял такой крик: чем это вы поите известного автора? какой бурдой! кто такое может пить? а бармен возмутился и как заорет: а мы всю жизнь читаем про это вино – и ничего, не подавились, живы! сам придумал рецепт – сам и пей! пристыженный Брэдбери ушел, унося свой роман под мышкой с автографом бармена; полнолуние полоснуло нас крепко – все союзы разрушились, любви скрутились в трубочку, в них набили травки и покуривают, кто легально а кто из протес-

та против того, что японцы сегодня заявили: они утверждают, что времени нет! а что же есть, когда смотришь в зеркало? что это отражается с годами – ни на что не похожее? прохожу сегодня мимо палисадника своих соседей – всю зеленеет марихуана, и никому до нее дела нет, в том числе и соседям, они думают – это просто куст, а среди него – веселые рожицы «Привет из Амстердама», в это же время аптекарь Ойме несет в банке яд для мадам Бовари – а она говорит ему – сам пей! я нашла кошелек вчера в беседе, есть чем расплатиться с долгами, еще одно платье закажу и даже Флоберу одолжу, он ведь сам всем трубит: «Мадам Бовари – это я, это я!»... солнце заходит, шум голосов и шелест страниц утихают, волны мягко накатывают на засыпающий берег, бумажный кораблик без имени бросает якорь среди скал.

Испанские сапоги

Мне назначил свидание один тридцатилетний писатель и красавец, а это было в прошлом веке, и Москва оставалась еще советски-старинной, на Новом Арбате стоял ресторан «Арбат», и над крышей вертелась какая-то огромная стеклянная фигура, под которой мы и должны были встретиться; и вот я надела новые купленные с рук высокие черные сапоги из Испании – с ручной изумительной вышивкой (все происходило поздней осенью), и когда уже увидела его «под рестораном», сапоги вдруг начали сильно скрипеть, но так громко, что люди на меня оборачивались; первыми словами, которыми мы обменялись, были: «Скрипят?». «Да, вот начали скрипеть». «Ничего, сейчас смажем их чем-то», – он заскочил в столовку и незаметно увел со стола бутылочку подсолнечного масла, а потом старательно втер его в сапоги, это возымело действие ровно на несколько минут, и обувь заскрипела еще страшнее, кое-как мы дошли до кафе «Лира» (ведь клубов тогда не было, кино везде шло одно и то же, в ресторанах так кормили, что после тех гвоздей уже жить и любить не хотелось, в музей идти было неудобно из-за скрипа), в «Лире» к шампанскому мы заказали сливочное масло, которое и втерли в сапоги, пробежавший официант подсказал: «Надо

репейным!» – мы хотели заказать и репейное, но его следовало искать в аптеке; пошли в аптеку, нашли облепиховое, фармацевты сказали, что для ботинок оно вполне заменит репейное, и он втер то, что достали, – вы же поймите, это была эра дефицита, другое масло или сапоги купить было невозможно – результат оказался тем же... я производила впечатление девушки на новеньких протезах, а он – моего убитого горем брата; поговорить нам ни о чем не удавалось, только если мы останавливались у столба, о каком-то прикосновении, поцелуе нечего было и мечтать – пугающий скрип перекрывал все желания и возможности, а сидеть на скамейке было холодно; в ресторане «Прага», где он смазал сапоги маргарином, мы прилично напились и решили из-за стола не вставать – было тихо, уютно, он читал свой рассказ... так мы досидели до закрытия, вышли на улицу и под победоносный скрип грустно обнялись, потом он, нежно смазав мои сапоги унесенным из ресторана майонезом, поймал для меня такси, а сам пошел домой пешком, и что интересно – мне показалось, что ботинки его начали громко скрипеть, а мои сапоги тут же перестали, я хотела было выбросить ему из окошка облепиховое масло, но такси тронулось, больше мы не виделись.

На шестке

За окном – нью-йоркская ночь, небо переполнено огнями самолетов – сами летят, но ветер разносит их в разные стороны, они ищут свой шесток, чтобы отдохнуть, выпить кофе, погладить кошку, и я тоже ищу: вокруг высится много разных, есть даже бриллиантовые! где-то я что-то читала когда-то, не припомню, о чем, написано богатым человеком золотыми буквами на фамильном киселе; но вот один шесток мне нравится, можно переезжать, вопрос в том, как разместить на нем мебель – у меня много шкафов, среди них – старинные, резные, с деревянными мордочками, которые все время улыбаются сандаловой улыбкой, впишутся ли мордочки в свое новое жилище? не затеют ли вооруженный протест? ведь как их закрепить на шестке? поднимут крик, сломают шесток, набросят платок, подожгут мэрию,

и жизнь пойдет под откос, а откос – неблагоустроен, не работает уже месяц – тока и горячей воды нет; оказывается, даже заиметь свой шесток непросто, нужно все со всеми согласовать, дать взятку за прописку, дать управдому за лишний ключ, за чистый парус, так что пока переезд отменяется: посмотрю, как у других получится, шестков свободных пруд пруди – но я хочу, как рыба, где глубже.

Золотой шар

Купила три елочных зеркальных шара – красный, бирюзовый и золотой, и когда продавщица бросила пакет с ними на прилавок, я неожиданно для себя вскрикнула. Девушка улыбнулась, открыла пакет и показала, что все шары целы, в Америке их делают из пластика. Дома же я обнаружила, что все шары раскрошились в пыль. Купила другие, произошло то же самое, и тогда я вспомнила, почему.

Когда мне было не помню, как мало лет, отец принес на Новый год три стеклянных шара величиной с его кулак, красный, бирюзовый и золотой, они были зеркальными. Это была невероятная удача в мире, где игрушек почти не существовало. Я, он и мать жили тогда в жалкой маленькой квартире на Пересыпи, но жили весело. Мать носила крепдешиновые платья, идущие к ее рыжим волосам и веснушкам, отца я помню в костюмах и шляпах, у него была целая коробка запонок. Чувство гордости за родителей переполняло меня, когда мы шли втроем в кино на вечерний сеанс. Не знаю, кто из них был красивее и умнее. Они что-то все время обсуждали, а смеялись так весело, что печальные прохожие оглядывались нам вслед.

Всю новогоднюю ночь я не отрывала глаз от зеркальных шаров на елке, а мать и отец танцевали под песню «Беса ме мучо», которую я к их бурному веселью перевела как «Бей самых лучших!».

Я не стала паковать шары в коробки на лето. Дело в том, что моей любимой игрой была игра в лошадей. Отец читал мне отрывки о Македонском, Дон Кихоте, Айвенго и других героях человечества, и потом я изображала их великих коней. Для этой цели

была сплетена сбруя из всяких ремешков, шнурков, крючков, пуговиц, старых брошек и серпантина. В конском одеянии я скакала по длинной одесской террасе, на которую выходили двери квартир, представляя то Росинанта, то Буцефала. Шары я прикрепляла к сбруе, так как не могла с ними расстаться. И вот они начали погибать. Разбился во время скачки и атаки на врагов зеленый, потом красный. Со слезами и почестями похоронила я блестящие останки под вербой во дворе. Золотой шар я решила сохранить, но держала его где-нибудь рядом, чтобы всегда можно было наблюдать в нем золотое отражение пыльной, дымной Пересыпи и наших соседей, которых отец с матерью дома называли «пролетариями».

Однажды я играла в Пегаса, а мать и отец ссорились в квартире, они стали часто ссориться. Как раз когда я пролетала над Понтом Эвксинским, дверь распахнулась, из нее выскочил отец со страшным лицом и с чемоданом. С разгону он наступил на желтый шар, но, не заметив ничего, бросился вниз по лестнице, ведущей во двор. Дрожа от ужаса, я побежала за веником, чтоб убрать стекло. Мать сидела за столом с каменным лицом, я не смогла даже заплакать, глядя на нее. Заметая золотые отражения в черный совок, я поняла недетским умом, что со смертью последнего шара началась самая длинная глава моей жизни: «Без отца». Ночью, когда мать наплакалась и уснула, я пробралась к шкафу и украла из коробки две отцовские запонки: одну – на память о нем, другую – на сбрую.

Летящий

Детская любовь сохраняется в памяти человека до последних дней, бывает так, что уже на смертном одре он вдруг понимает, что в ней таился алгоритм всех последующих отношений, ему хочется что-то сказать об этом, он шевелит сухими губами, протягивает руку, но – поздно, глаза закрываются, последняя секунда жизни падает со стуком на больничный пол; когда мне было 6 лет, я влюбилась в картинку из журнала: на ней в стиле соцреализма изображен был раненный солдат с голубыми глазами, фа-

шисты собирались расстрелять его над обрывом, долго прятала я несчастного солдата под подушкой, как будто это могло отдалить расстрел, засыпала, оплакивая его долю, пока родители не обнаружили вырванную страницу и не изъяли ее с возмущением; точно так же одна 10-летняя девочка с 11-й станции Большого Фонтана (напомню, что там когда-то жила Ахматова) привязалась к скульптуре Матроса, стоявшей возле танцплощадки местного Домотдыха (в кустах дикой смородины) и сползавшей постепенно в море, так как танцы проходили над обрывом, а берег в том месте сильно оседал; матрос, высеченный из типичного бело-серого камня, из которого в 50-е годы были сделаны тысячи потомков гипсовой Девушки с веслом, сидел на скамейке и читал книгу, на бескозырке его было вырезано название корабля «Летящий»; девочка по вечерам прибегала посмотреть на танцующих и послушать музыку из громкоговорителя, она садилась рядом с Матросом и они вместе наблюдали чужое веселье, в котором принять участие не могли; это обстоятельство их сплотило, девочка стала находить на скамейке скромные дары – то яблоко, то браслетик из бисера, то заколку к ее волнистым волосам, она присмотрелась к Моряку: по замыслу скульптора это был юноша лет 19-ти с романтическим, даже робким выражением лица, и верно! натурщик, с которого лепился этот образ, был студентом-филологом, он покончил с собой от безответной любви к женщине старше, актрисе, она же, состарившись, раскаялась в своей холодности и начала маниакально приходить к нему на могилу и распивать там спиртное, часто с матерью покойного, подоспевшей вовремя; скоро Девочка и Моряк настолько подружились, что, преодолев застенчивость, осторожно кружились в вальсе по разбитому асфальту (конечно, когда фонари гасли, и отдыхающие расходились по баракам), потом бродили по лунной дорожке до буйка и обратно: он рассказывал о своем крейсере «Летящий», где никогда не был, а она о родителях, которых никогда не видела, так как ее воспитывали бабушка и дедушка, единственное, чего они не могли обсудить, – о чем говорилось в книге, которую читал Матрос, им не удавалось перевернуть ни одной каменной страницы; между тем трещины на танцплощадке становились все глубже, земля гудела, оползень назревал,

и однажды до девочки дошло ужасное известие, что танцплощадку будут укреплять, а устаревшую скульптуру разрушат и вывезут на свалку, она попробовала устроить Моряку побег, но он не смог далеко уйти на своих каменных ногах, тогда девочка... пропала! старики, воспитавшие ее, искали, помещали портреты на стенах, в газетах, убивались и плакали, и быстро умерли от тоски; на танцплощадке же появились рабочие и стали перекладывать асфальт, но когда дело дошло до сноса скульптуры, произошла осечка – в накладной было написано «скульптура Матроса», а на самом деле это оказалась скульптурная группа: Моряк и Девочка переворачивают страницу книги; вызвали директора, и он, подумав, решил трогательную работу не ломать, но название ей придумали другое – «Любовь к чтению»; однако спасенная скульптура долго не простояла – оползень наконец случился, да такой сильный, что жители 11-й станции слышали ночью стоны и грохот земли, а наутро половины обрыва не было, вместе с ним ушла в море и скульптура «Любовь к чтению», ее никто, конечно, в розыск не объявил.

